
Александр Суконик*

**«ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»:
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ И СЛАБОСТИ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА**

На мой взгляд, в «Записках из Мертвого дома» следует проследить две важные темы, связанные с возможным влиянием каторги на развитие мировоззрения Достоевского в последующие годы. Первая тема — это исследование Силы и Слабости человека в каторжном обществе, и вторая — исследование характера Веры каторжан. В данной статье я останавливаюсь на первой теме.

Непосредственно после выхода из каторги Достоевский описывает в письме к брату Михаилу сибирский город, в который выслан на поселение: «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про черный народ. Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно». А вот как Достоевский описывает во «Введении» к «Запискам из Мертвого дома» «один из веселых и довольных собой» сибирских городков, в котором он встретил автора записок, ссыльного Александра Петровича Горянчикова: «Климат превосходный; есть много замечательных и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по ули-

* Александр Суконик (род. в 1932 г. в Одессе) — прозаик, эссеист, литературовед. Автор книг о русской культуре, русской и зарубежной литературе. С 1974 г. живет в США.

цам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать... Вообще земля благословенная». Ирония Достоевского тотальна, злобна и бездонна, но на что и кого она направлена? Несомненно, никто не обязан читать введение к книге с особенным вниманием, тем более, что цель его понятна. Достоевскому по многим соображениям следовало опасаться цензуры, и писать от третьего, вымышленного лица было куда разумней. Прием достаточно избитый, «рукопись, найденная под кроватью» и прочее в таком роде — зачем это читать?

Достоевский, конечно, все понимал, но исподтишка зашифровал в своем Введении куда больше, чем это видно с первого взгляда, причем зашифровал как будто для личного удовольствия и развлечения. Вот он берется описывать «автора» записок Александра Петровича Горянчикова и привносит какие-то уж совсем, казалось бы, ненужные подробности. Он встречается Горянчикова в первый раз и замечает: «Если вы с ним заговаривали <...> смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, со строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора». Затем идет описание того, как Горянчиков был принят в городе, как о нем говорят, что он живет «безукоризненно и нравственно», но «что он страшный нелюдим, от всех прячется», и затем еще, как «иные утверждали, что он положительно сумасшедший». Тут автор введения продолжает: «Я сначала не обращал ни него особенного внимания, но, сам не зная почему, он мало-помалу стал интересовать меня. В нем было что-то загадочное <...> Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону». Казалось бы, следовало оставить бедного г-на Горянчикова в покое, но автор введения не унимается и прямо так и говорит: «Но я не унялся <...> и месяц спустя я, ни с того ни с сего, сам

зашел к Горянчикову <...> Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-то преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза <...> Он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть ли не спрашивая: “Да скоро ли ты уйдешь отсюда?”».

Последняя цитата заставляет вспомнить выдержку из записи графа В. Сологуба о посещении им автора нашумевшего романа «Бедные люди»: «Я <...> нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми рукавами. Он сконфузился, смешался и подал мне единственное находящееся в комнате старенькое старомодное кресло <...> Я тотчас увидел, что это — натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать. Достоевский просто испугался. “Нет, граф, простите меня, — промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, — но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...” <...> Только месяца два спустя [он] решился однажды появиться в моем зверинце».

В Введении к «Мертвому дому» Достоевский набрасывает иронический автопортрет. Зачем он это делает? Действительно ли из *частного* (его словечко) удовольствия поиздеваться над самим собой? Или с какой-то более глубокой целью? Это невозможно сказать потому, что образ Горянчикова дан без всякой идейной нагрузки, в чисто художественной форме, но на заметку это следует взять...

По выходе из каторги Достоевский описывает в письме к брату Михаилу лагерную среду: «С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, они встретили враждебно и со злобной радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впро-

чем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений. “Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучал, а теперь хуже последнего, наш брат стал” — вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимости их воле. Они всегда сознавали, что мы выше них».

Кем написаны эти слова: автором «Записок», или одним из заключенных по политическим делам поляков, или русским Акимом Акимовичем — людьми, которые относятся к каторжному люду как к общей враждебной массе, и от которых автор «Записок» в самой книге категорически отмежовывается? «Поляки были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетой». У Достоевского в письме «равнодушие» и «нравственное превосходство», у поляков «отвращение», но, право же, это вопрос не слов, а оттенка слов. Автор этих слов мог бы написать книгу воспоминаний о каторге, и даже может быть, кто знает, еще более впечатляющую книгу, но только он никогда не смог бы написать «Записки из Мертвого дома». Действительно, в «Записках» постоянно говорится о непроходимой ненависти народа к дворянам и приводится то же выражение «железные носы» и даются этой ненависти те же объяснения, но *тон изложения здесь совсем другой*. Сколько бы раз рассказчик ни повторял о враждебном к себе отношении со стороны каторжных, он ни разу не выражает ни негодующего чувства «нравственного превосходства», ни обиды, ни гнева, и даже не приводит ни одного конкретного примера, как именно, каким образом проявлялось это отношение. Даже в коротком письме ярче сказано о «бесчисленных всевозможных оскорблениях». Каковы конкретно были эти оскорбления, каким образом каторжники получали от них удовольствие, как это «занятие» развлекало их? Писатель Достоевский связывает себе руки, упускает возможность одним штрихом, одной деталью передать такую существеннейшую деталь своей каторжной жизни — и все

для того, чтобы не перегнуть палку, смягчить образы «злодеев», *не дать своему рассказчику стать выше них*. С первых же страниц и на протяжении всей книги Достоевский старается избежать даже намека, что его рассказчик стоит выше простых людей благодаря этому самому «нравственному превосходству». Письмо брату — это действительно «документальное» слово, но «Записки из Мертвого дома», написанные через пять лет после письма, — это опосредствованное художественное произведение, и вот что там говорится: «Я иногда просто начинал ненавидеть этих **таких же страдальцев, как я**». И дальше, ближе к концу книги: «Душу и развитие ее трудно подводить под какой-нибудь данный уровень. Даже само образование в этом случае не мерка. Я первый готов свидетельствовать, что и в самой необразованной, в самой придавленной среде между этими *страдальцами* встречал черты самого утонченного развития душевного».

Страдальцы — жалостливое слово. Его сентиментальность находится в некотором диссонансе с общим тоном «Записок из Мертвого дома», в которых жестокости каторги, как бытовые, так и дисциплинарные, подаются крайне сдержанно, без каких-либо жалоб, без какой-либо словесной экзальтации, так, вообще говоря, присущей манере Достоевского. Но здесь это слово имеет явный смысл: оно еще раз подтверждает стремление рассказчика нивелировать себя под общую массу каторжного *черного* (слово, которым Достоевский с презрением определяет в письме к брату общую массу неинтеллигентных людей Омска) люда. Так неожиданно проявляется «кухня» художественной манеры Достоевского: *он не может писать, возвышаясь над людьми*. То, что в остальных его произведениях определяется *объективной* стилистической данностью, в «Мертвом доме» возникает и осуществляется как необходимость, вытекающая из *субъективной* особенности характера Достоевского, из самого его существа, его неловкости, даже мучительной неловкости ощущать себя выше других людей. Ниже — пожалуйста: «...Мы были закованные и ошельмованные, от нас все сторонились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было даже как-то приятно, какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии. “Пусть же, коли так!” — думал я». Слова «утонченное ощущение» и «странное удовольствие» отсылают к знакомому нам сознанию героя «Записок из

подполья», который из-за своей склонности непрерывно рефлексировать и своей неспособности быть цельным, уверенным в себе «непосредственным господином», хвастает тем, что становится чем-то вроде насекомого, даже меньше насекомого. Но это также вполне христианское мышление, как его понимал сам Достоевский, — чувствовать себя по возможности ниже всех, так же, как чувствовал себя избитый, поруганный, оплеванный Иисус, ведомый на Голгофу, то есть ощущать униженность и страдание, которые возвышают человека.

С самого первого дня рассказчик вглядывается в лица каторжников: «Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая, что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет <...> Все это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым, хочу не хочу, а должен жить...». Принято полагать со слов позднего Достоевского, что каторга помогла ему понять и полюбить русский народ, и что каторга сделала его почвенником. Но в самом «Мертвом доме» таких слов совсем нет, и там нет ни малейшего намека на этнический национализм, к которому писатель пришел в семидесятые годы. Между тем автор «Мертвого дома» действительно говорит, что «полюбил», но употребляет это слово не по отношению к народу или какой-нибудь группе людей, но к отдельной личности: даже вовсе не этнически русскому, молодому горцу мусульманину Алею. И вообще его симпатии и антипатии по отношению к отдельным каторжникам совершенно не зависят от их этнической принадлежности — наиболее яркий пример здесь его симпатия к другому горцу, Нурре, который находится в каторге за то, что, хоть и был «мирной» кавказец, но участвовал в набегах на русских вместе с немирными. Ясно, что Нурра резал этнических русских людей весьма похоже на то, как турки резали славян во время Балканской войны, но автор «Мертвого дома» — это не автор документального «Дневника писателя», выражающий мнения и суждения о людях и событиях со стороны и сверху вниз. Повторю еще раз, что «Записки из Мертвого дома» — это по своей сути, несмотря на документальную видимость, художественное произведение, написанное в той же уникальной стилистике, которая лежит в основе всех художественных произведений Достоевского и которая заключается в том, что автор ни на йоту не возвышается над своими героями, не *рассуждает* о них и не судит их.

На каторге жизнь ставит Достоевского, как героя классической трагедии, в экстремальную ситуацию. Она не просто опускает его на самый-самый Низ, он не просто находит себя окруженным обитателями этого Низа, настроенными к нему заведомо враждебно, но еще он *находит себя членом иного общества*. «За этими воротами был светлый вольный мир, жили люди, как — все. Но по сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, жизнь — как нигде, **и люди особенные**». «Никто здесь никого не мог удивить. “Мы — народ грамотный”, — говорили они часто с каким-то странным самодовольством». И еще: «С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога». И еще: «Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть ли не каждый обитатель острога». И еще: «А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтобы только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он еще не видывал; по праздникам говядина, есть подавание, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он никогда еще не видал таких; он считает **их самым высшим обществом, которое только может быть на свете**».

«Общество» тут чрезвычайно важное, даже ключевое слово. Опять же, это слово (society) чрезвычайно важно, скажем, в «Крошке Доррит», в которой Диккенс рисует в сравнении и в переплетении два общества — высшее и тюремное. Идея Диккенса велика (как велик этот, может быть, самый лучший его роман), но Диккенс смотрит на оба общества со стороны, и потому его идея неизбежно оценочно назидательна. Не то у Достоевского: поразитель-

но, насколько ему не приходит в голову провести хоть разок такое художественно соблазнительное сравнение между обществом, в котором он обитал раньше, и обществом, в которое он попал сейчас. Потому что рассказчик не способен подняться над людьми, в обществе которых оказался, это общество занимает весь его горизонт, никаких других миров, других обществ более не существует, исчезают *все перспективы*, а перспективы — это ведь зачастую такая освобождающая вещь, такое ощущение горного воздуха в легких! Достоевский не способен сравнивать, проводить параллели, в мире параллелей царствуют Диккенс и Толстой, которые поднимаются, точнее, отодвигаются от людей не на миллиметр, а на световые годы миллиметров... но Достоевский есть нечто совсем другое.

Достоевский попадает на каторге в совершенно новое для себя сообщество, в новый мир людей, этот мир *целиком овладевает им* (отсутствие перспективы), и, как следствие, он становится членом этого сообщества. И его положение в новом обществе изменяет его. Там, за воротами каторжного поселения, Достоевский жил в «светлом вольном мире» и, живя в этом мире, писал о мечтателях, слабых сердцах, о раздвоенных неврастениках — о *слабых людях* того мира. Люди же Силы, люди высшего общества, полумифические юлианы мастаковичи были для него по его социально-экономическому статусу недостижимы. В мире сказки деньги, разумеется, тоже играли роль, но у мечтателей и слабых сердец к ним не было доступа. *И у Достоевского к ним не было доступа*, с юношеских лет он привык выпрашивать и вымаливать деньги у кого только мог, и почти всю жизнь прожил в долгах. Только четыре года каторги были в этом смысле совсем другими, *только в эти годы за всю его жизнь сила денег была в его руках*. «Деньги есть чеканенная свобода, и потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже наполовину утешен...». Рассказчик говорит о первых днях в остроге: «Уже вчера с вечера я заметил, что на меня смотрят косо. Я уже поймал на себе несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтобы спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес в острог».

Деньги есть чеканенная свобода, говорит Достоевский, и он входит в новое (каторжное) общество на совсем других основаниях по сравнению с тем, какое положение он занимал в обществе на воле: у него тут есть деньги, и, следовательно, есть возможность чувствовать себя привилегированным членом этого общества. Кроме того, он дворянин, и это тоже дает ему привилегии (например, дворян практически не секут). И вот оказывается, что ему находиться на общественном верху непривычно, неловко, даже мучительно. Он страдает тем, что его не принимают «в товарищи», и что он оказывается в чем-то выше остальных каторжников, но переделать это свое положение он не может, и именно таким образом иронически обогащается его ситуация: «Действительно, мне всегда хотелось все делать самому, и даже я особенно желал, чтобы и виду не подавать о себе, что я белоручка, неженка, барствую. В этом отчасти состояло даже мое самолюбие, если уж к слову сказать пришлось. Но вот, — решительно не понимаю, как это всегда так случалось, — но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой; а по наружности и выходило как-то само собой, что я действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую».

Итак, вот каково *новое* положение Достоевского в *новом* (каторжном) обществе, которое *организовано в корне иначе*, чем было организовано общество на воле. Достоевский попадает в общество людей, в котором нет установленной государством и историей социальной иерархии; тут все в своем социальном статусе уравнены, то есть каторга парадоксальным образом похожа на эгалитарное общество всеобщего братства людей на земле, о котором Достоевский мечтал с юности и до конца жизни (только в юности это было разумное атеистическое общество согласно теориям Белинского, а в поздней жизни это была Россия, спасающая Европу под эгидой эгалитарного, допаулинского христианства, — за что его критиковал нещадно и по-своему справедливо Леонтьев). Разумеется, тут есть одно существенное и ироническое различие: каторжное общество основано на едином, но всеохватывающем принципе — лишении своих граждан внешней свободы. Именно и только внешней: никто здесь не покушается на свободу внутреннюю, никто не пропагандирует ту или иную идеологию, не «исправляет» преступ-

ников, не заставляет мыслить в том или ином направлении. Этот парадокс не избегает Достоевского, когда он пишет исключенное цензурой дополнение ко второй главе первой части книги, в котором дает голос «поверхностному наблюдателю», отмечающему «отрадные» черты каторжной жизни — и хлеба-то вдоволь, да такого, какого в других местах подавляющее число русских людей не едали, и выпивка есть, и табак, и карточная игра. И далее развивается неуспокаивающаяся, пока не дойдет до истинного парадокса, фантазия писателя и приходит — в первый раз! — к образу хрустального дворца-рая, в котором есть все, включая забор, которым этот дворец обнесен: «“Все твое! Наслаждайся! Только отсюда ни на шаг!” и будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть через забор».

Но хотя на каторге не было социального и экономического неравенства между людьми, которое так явно осуществлялось в монархической и крепостнической России, перед Достоевским представляла в чистом виде межчеловеческая иерархия, которая единственно могла тут осуществиться, а именно иерархия *силы или слабости человеческих характеров*. Так мы, наконец, приходим к словам: человеческие Сила или Слабость, Сила или Слабость человеческой воли. Так мы приходим к теме, которая пронизывает всю книгу — под углом которой пишется книга «Записки из Мертвого дома».

Надо сказать, что с точки зрения этой темы каторга была не совсем обычным местом собрания людей, и, хотя Достоевский в письме к брату хвалился тем, что «если я не узнал Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие его знают», он все-таки узнавал русский народ по весьма специфической группе его представителей. Для того, чтобы эти «сто пятьдесят человек» (или двести пятьдесят или еще больше) называть не просто представителями народа, но и *лучшей, может быть, его частью*, нужен был человек не совсем обычного склада мышления, потому что «представители» эти отличались от тех многих миллионов русских людей, которые жили за оградой каторги, только одним: они преступили закон, совершили то или иное преступление, то ли воровство, то ли прямое насилие, *заявив таким образом в лицо обществу свое своеволие и не испытывая впоследствии никакого раскаяния* (термин «своеволие» Достоевский введет в «Записках из подполья», и оно будет там означать

акт проявления воли вопреки диктату разума, акт, который осуществляется посредством негативной Силы насилия — разрушения хрустального дворца). Насчет же отсутствия раскаяния Достоевский достаточно недвусмысленен: «Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодечество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было».

В принципе с идеей Силы Достоевский был знаком давно и из-за нее и угодил в каторгу. Эта идея была известна ему *теоретически*, когда он был социалист, верный последователь Белинского, как он это исчерпывающе зафиксировал в «Дневнике писателя» за 1873-й год. Кроме того, внутри кружка Петрашевского, в котором насилие отвергалось, он был член тайной группы Дурова, у которой была программа радикального действия, по крайней мере печатания прокламаций (счастье Достоевского и Дурова, и всех нас, что печатный станок не был найден при аресте и позже был уничтожен родственниками члена кружка). То есть идея Силы, в том числе несправедливости Силы, которая устраивает современное общество, а также идея насилия во имя справедливости — все эти идеи были ему близки; повторю: *теоретически близки* (то есть в воображении и предположениях, то есть в сентименте), но они совсем не нашли отражения в его творчестве, и он остался певцом бедных, мечтательных и раздвоенных слабых людей. Кажется, что молодой Достоевский был еще до такой степени незрел и смутен, настолько не знал себя самого, что в нем могли сосуществовать два настолько разных человека без того, чтобы он должным образом обратил на это внимание (впоследствии, во второй части «Записок из подполья», он описал именно такого человека). Но Достоевский ни до, ни после каторги не умел писать, умозрительно отталкиваясь от посторонних идей, даже если эти идеи были ему по душе, — *идеи, которые он изображал, всегда исходили из его соб-*

ственного я, его собственной психики. Каторга же внесла тут изменение, он стал с Силой во всех ее проявлениях (силой «сверху» — государством; силой «снизу» — преступниками) непосредственно лицом к лицу, и это изменило его, и сила и насилие станут после выхода из каторги доминирующими темами его произведений. Арест, суд, приговор, ожидание неминуемой казни, последующий этап в Сибирь и каторга, по свидетельству самого Достоевского, не сломили его идейных убеждений. Но они каким-то образом подействовали на все его существо, изменили его *вне всякой идеологии*, и «Записки из Мертвого дома» совместно с «Дядюшкиным сном» и «Селом Степанчиковым» — первые три произведения, написанные непосредственно после каторги — суть реальные свидетельства этого изменения. Две из них — вещи юмористические и иронические, сентимент в них и не ночевал, равно как и мечтатели и бедные люди, а «Записки из Мертвого дома» — это произведение, в котором исследуется общество людей, проявивших своеволие.

Тут я делаю поворот и, прежде чем начать говорить об обществе людей каторги, обращаюсь к обществу животных, которому посвящена небольшая глава «Каторжные животные». Причем я берусь говорить *в той же последовательности*, в какой конструирует эту главу сам автор.

«В остроге за все мое время перебивало, однако же, случайно несколько животных. Кроме Гнедка, были у нас собаки, гуси, козел Васька, да жил еще некоторое время орел».

Сперва идет собачка Белка: «Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что она, когда, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. Кроме того она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый... Оскорбленная судьбой, она, видимо, решила смириться. Никогда-то она не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину: “делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться”. И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая неременною своей обязанностью. “Вишь,

подлая!” — говорят, бывало, арестанты. Но Белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимало ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла». Но не только в мире людей, но и в собачьем обществе Белке приходится несладко: «Бывало перекувырнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой вислоухий пес бросится на нее с рыком и лаем». У рассказчика играет на лице гоголевская усмешка: «Но собаки любят смирение в себе подобных. Свирепый пес немедленно укрощался, с некоторою задумчивостью останавливался над лежащей перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно и с большим любопытством начинал обнюхивать ее во всех частях тела... обнюхав внимательно, пес бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя, за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь Жучку. И хоть она наверно знала, что с Жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять — и то было для нее утешением в ее несчастьях. Об чести она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила ради одного только хлеба и вполне понимала это... Кончилось тем, что ее за острогом разорвали собаки».

Белка — пария, что находится на самой низкой ступени иерархии сила-слабость, и она гибнет особенно безнадежно и унизительно — от зубов своих собратьев, даже не от руки человека (кстати, я думаю, что Достоевский сам придумал такой маловероятный конец, собаки в стае не разрывают друг друга).

Следующий, чуть повыше этап — это Культяпка, которого рассказчик еще слепым щенком, «сам не зная, почему», приносит из мастерской в острог. Шарик, взрослый пес, живущий в остроге, «тотчас же принял Культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе». Культяпка — это прямая противоположность Белке: «Характера он был пылкого и восторженного, как всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обычно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержаться и всех остальных чувств своих: “Был бы только виден восторг, а приличия ничего не значат!”». У Культяпки есть надежда: «казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости». Действительно, в другой ситуации, вернее, в *другой художественной конструкции*, Культяпка вполне мог бы выжить — только не в конструкции «Записок из Мертвого дома», и вот:

«...в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал Культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревающий, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез». Культяпка был щенок рассказчика, и рассказчик «ужасно полюбил этого уродца», но в продолжение рассказа рот рассказчика растянут в довольно «негуманной», как говаривал Достоевский, ухмылке, похожей на ту, которая должна была быть на лице Гоголя, когда он рассказывал Пушкину про кота, погибающего на крыше горящего дома, и какие тот выделял уморительные прыжки.

Кроме собак, в каторге еще были гуси, которые «завелись как-то тоже случайно» и которые «некоторое время очень тешили арестантов и даже стали известны в городе». Рассказчик с юмором рисует картину, как стая выросших гусей повадилась ходить с арестантами на работу, как они, распустив крылья, с криком бежали за арестантами, как непременно отправлялись на правый фланг, выстраиваясь там и ожидая разводки. Как присоединялись обязательно к самой большой партии и паслись «где-нибудь неподалеку». Однако век гусей короток и конец его подан с тем же ироническим лукавством: «Но несмотря на всю их преданность, к какому-то разговенью их всех перерезали».

После гусей следует козел Васька, который попал в острог «белым, прехорошеньким козленком» и которого «в несколько дней все <...> у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою». Васька забирается по иерархической лестнице животного мира в каторге необычайно высоко, он единственное животное здесь, отношение к которому напоминает отношение к домашним существам, коих заводят на воле «нравственно развитые» люди: «Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен». Васькина свобода в мире арестантов до того сильна, что он участвует в играх с людьми на равных и даже берет верх: «Однажды вечером лезгин Бабай вздумал с ним бодаться. Они уже долго стучались лбами, — это была любимая забава арестантов с козлом, — как вдруг Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца и, только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе пе-

редние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая». Когда Васька подрос, его кастрировали, чтобы он не пах козлом — еще одна примета, насколько Васька был принят каторжным людом не на роли домашней скотины, но скорее чего-то вроде сакрального животного: «Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на берегу цветов и уберут всем этим Ваську; рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним, точно гордятся перед прохожими. До того дошло это любование козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: “Не вызолотить ли рога Ваське!”... И долго бы прожил Васька в остроге и умер бы разве от одышки, но однажды возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался навстречу майору, ехавшему в дрожках».

Тут и кончилась Васькина, говоря словцом Достоевского, карьера. Его велено было зарезать, а мясо отдать арестантам. И рассказчик заключает, все с той же ухмылкой: «Мясо оказалось действительно очень вкусным».

После козла является нам последнее животное каторги — орел.

«Проживал у нас некоторое время в остроге орел... Кто-то принес его в острог раненого и измученного... Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь».

Дикая птица (представитель дикого животного мира) входит в совершенно другое отношение с каторжными людьми, чем домашние животные. «Когда на него насмотрелись и стали расходиться, он отковылял, хромя и прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом, в самый дальний угол острога, где забился в углу, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас месяца три и во все время ни разу не вышел из своего угла <...> Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него собаку <...> Орел защищался изо всех сил когтями и клювом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных <...> Наконец, всем он наскучил; его все бросили и забыли, и, однако ж, каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и

черепок с водой. Кто-нибудь да наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней, наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях».

Рассказчик описывает все достаточно точно: известно, что приручить орла, даже если он взят птенцом, трудней, чем любое другое дикое животное или дикую птицу. Люди, которые охотятся с орлами, берут птенца и морят его голодом почти до смерти, пока он не начинает кормиться из рук.

Вот какие действия *предпринимает* рассказчик по отношению к орлу: «Мне случилось не раз издали наблюдать его... Никакими ласками я не мог смягчить его: он кусался и бился, говядины от меня не брал и все время, бывало как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым, пронзительным взглядом».

Вот что *говорит* об орле рассказчик: что он похож на раненого короля; что «одинок и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем».

Вот какие действия *предпринимают* по отношению к орлу каторжники: 1. приносят его в острог; 2. любопытствуют и забавляются, натравливая на него собаку; 3. теряют к нему видимый интерес, однако же, исподтишка кормят его и дают ему воду; 4. интерес арестантов внезапно возобновляется и они решают вынести орла из острога, чтобы он пусть и умер, но на воле.

Вот что *говорят* арестанты об орле: «Зверь! — говорили они. — Не дается!.. Знать он не так, как мы <...> Ему, знать, черта в чомодане не строй. Ему волю подавай, заправскую волю-волюшку <...> И не оглянется!.. Ни разу, братцы, не оглянулся, бежит себе! Знамо дело, воля. Волю почуял <...> Слобода, значит».

Итак, резюме. Достоевский обращается ко всем, домашним и диким, животным, и говорит: не доверяйте человеку, никто из вас. Как бы человек ни ласкал и ни голубил вас, будьте начеку, рано или поздно он вас все равно предаст. Будьте настороже, а, самое лучшее, будьте, как тот вольный орел, который, хоть и умер в молодости, но по своей воле — заботьтесь о духовности, а не материальности своей экзистенции.

Теперь перейдем к обществу людей. В отличие от описания животных рассказчик не выстраивает тут по ходу книги строгую конструкцию, да это было бы немыслимо: разнообразие человеческих натур посложней характеров животных. Но так как моя за-

дача несравненно уже, я позволю себе начать с людей слабых и затем постепенно идти по направлению к сильным.

В одной из первых глав дается такое описание: «В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся или пропившиеся или так просто от природы нищие. Я говорю “от природы” и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках <...> Всякий почин, всякая инициатива — для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтобы ничего не начинать самим и только прислуживать, **жить не своей волей, плясать по чужой дудке**; их назначение — исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. **Они всегда нищие**».

Затем рассказчик переходит к конкретным персонажам, как бы для иллюстрации своих рассуждений: «Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во все время моей каторги <...> Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне; даже не помню, как и когда это случилось. Он стал на меня стирать <...> Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтоб мне угодить: наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц; все это делал усердно, суетливо, как будто бог знает какие на нем лежали обязанности, — одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя <...> Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни <...> Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомесла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку <...> Он не мог не служить кому-нибудь и, казалось, выбрал меня потому, что я был обходительней других и че-

стнее на расплату <...> **Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть ли не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе**». Затем следует еще любопытное замечание: «...он, как мне кажется, принадлежал к тому же товариществу, что и Сироткин (то есть к товариществу гомосексуалистов. — А.С.) и принадлежал единственно по своей забитости и безответности». Тут, кажется, автор опускает Сушилова на ступеньку еще ниже, чем собачку Белку, которая всего только недостижимо мечтала о компании Жучки. Замечено, что в стаях бездомных собак бывает, порой, один кобель, настолько безответный и ласковый, что все другие кобели постоянно взбираются на него и имитируют половой акт. Примерно это же имеет в виду рассказчик, когда замечает, что Сушилов принадлежал к гомосексуалистам не по особенностям своей натуры, а «единственно по своей забитости и безответности».

Но и это еще не все про Сушилова. На самом деле Сушилову вообще нет места в каторге, он как бы недостойн здесь находиться. Его вели по конвою как бродягу, и тут он «сменился» личностями за мзду с настоящим преступником. Арестанты презирают и смеются над ним не за это (такие «смены» были известны), но за то, как ничтожно мало он взял, продав себя: всего лишь красную рубашку и рубль серебром.

Да, автор «Мертвого дома» — это не автор «Бедных людей». Однако пойдем дальше, следуя классификации каторжного люда с точки зрения слабости и силы их характеров и поднимемся на ступеньку выше. «В остроге всегда бывает много народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего все до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решительностью. У таких людей остается в виде капитала в целости только спина; она может послужить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и нанимается к нему для проноски в острог вина». Рассказчик подробно описывает, с какими ухищрениями проносят в острог вино в промытых «бычачьих кишках», и как, в случае поимки во время шмона, контрабандист расплачивается спиной, ложась под палки, но не выдавая антрепренера. Подобного рода «промотавшийся народ» обладает, в отличие от людей типа Сушилова, некоторой свободой

воли. Пусть эта воля не живет в нем постоянно, а только вспыхивает в крайнем случае, тем не менее она делает его способным в такие моменты к активному действию. Когда контрабандист проносит вино, он рискует, его ум активно работает, он испытывает напряжение чувств, даже экзальтацию — в это время он человек. Но все это от случая к случаю и в зависимости от внешних обстоятельств — внешние обстоятельства повелевают его волей, побуждая ее к действию, а не его воля подчиняет себе внешние обстоятельства.

О трагедии отсутствия воли и трагедии стихийного своеволия повествует в книге отдельная глава под названием «Акулькин муж». Именно так, Акулькин муж, хотя рассказчик говорит нам, что фамилия его была Шишков, что был он «пустой и взбалмошный человек» и что арестанты «как-то с пренебрежением с ним обходились». Но название главы совершенно точно, она сама по себе художественное произведение и могла бы быть названа: «Как Акулькиного мужа приворожили» или «Как Акулькин муж волю потерял», что-нибудь в таком роде. Дело происходит в каторжном госпитале, ночью, и рассказчик слышит, как по соседству с ним тихо разговаривают два арестанта, один из них, тот самый Шишков, излагает историю своей жизни. История строится как трагедия, в которой Акулькиному мужу, человеку без воли, противостоит малый по имени Филька Морозов, воплощающий собой своеволие. Точнее, воля обоих мужчин подчинена какой-то роковой стихии, оба несвободны в том смысле, что обоим судьба предназначила особые роли, и оба влекомы к трагической развязке, в центре которой фигура жертвы, молодой женщины Акульки. Оговаривает ли Филька Морозов Акульку или вправду с ней спал? Зло ли затаил против нее или его лишает разума (способности действовать разумно) неразделенная любовь? Никто не может ничего сказать, и уж тем более Акулькин муж, который настолько «сам себя не знает», то есть ни в чем не верит себе, что даже убедившись в брачную ночь, что Акулька невинна, тут же меняет мнение только потому, что: «А Филька-то мне мало времени спустя и говорит: “Продай жену — пьян будешь. У нас, говорит, солдат Яшка затем и женился: с женой не спал, а три года пьян был... А ты, говорит, дурак. Тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в эфтом деле, после всего, смыслить мог?” Я домой пришел и кричу: “Вы, говорю, меня пьяного повенчали!”» Хоть Акуль-

киному мужу порой жалко жену, хоть он валялся у нее в ногах после брачной ночи, прося прощения, все существо его одержимо, околдовано не Акулькой, а Филькой Морозовым, который с начала и до конца рассказа завихрен в совсем уже сказочных размерах стихию гульбы и пьянства — сперва пропивает наследство богатого старика-отца, а потом становится в другой богатой семье «наемщиком» (нанимается идти в армию за другого) и продолжает все так же в завихренности своих желаний: «Так Филька-то у мещанина-то дом коромыслом пустил, с дочерью спит, хозяина за бороду кажинный день после обеда таскает — все в свое удовольствие делает. Кажинный день ему баня, и чтоб вином пар поддавали, а в баню его чтоб бабы на своих руках носили». Такой мифических размеров образ возникает из рассказа, между тем Акулькин муж пытается куражиться по-своему, то есть именно не «по-своему», а наподобие филькиной тени: «Я вас и слышать теперь не хочу! Что хочу, то над всеми вами и делаю, потому что я теперь в себе не властен; а Филька Морозов, говорю, мне приятель и первый друг. — Значит, опять вместе закурили? — спрашивает госпитальный собеседник. — Куды! И приступу к нему нет» (ну, вот, совсем как у Белки нет приступа к Жучке). И заканчивается эта история тоже литературно, совершенно так, как «Кармен» Проспера Мериме: Акулькин муж убивает Акульку, которая говорит ему в тот день, когда Фильку забили в солдаты: «Да я его, говорит, больше света теперь люблю!».

Ближе к началу рассказчик делит каторжных на угрюмых и веселых: «Вообще же скажу, что весь этот народ, — за некоторыми немногими исключениями неистощимо веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист». Кажется, рассказчик не расположен к угрюмым людям, а тем не менее он, постепенно, понимая, каким образом строится каторжная человеческая иерархия, меняет свое мнение (хотя и не меняет пристрастия): «Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей и, разумеется, ничего, кроме брани, за это не получали». Сперва автор не понимает, почему каторжники бранят Скуратова, называют его «безобразным» и «беспольным» человеком, и думает, что здесь что-то личное. Но со

временем понимает: «...это были не личности, а гнев за то, что у Скуратова не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга...». Достоинство может быть напускным, *но в том, что достоинство ценится, нет ничего напускного*, то есть фальшивого: тут указывается направление к идеалу человеческого существа, как оно понимается на каторге, вопрос только в том, чтобы различить, где достоинство напускное, а где проистекает от истинной силы характера.

Впрочем, на каторге «были и веселые, которые умели огрызнуться и спуску никому не давали; и тех принуждены были уважать». К этой категории принадлежит Баклушин: «Я не знаю характера милей Баклушина. Правда, он не давал спуску другим, он даже часто ссорился, не любил, чтобы вмешивались в его дела — одним словом, умел за себя постоять». Баклушин — шутник, «его даже знали в городе, как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости». Однажды Горянчиков просит Баклушина сказать, за что его посадили. «За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? Ведь за то, что влюбился!.. Правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылатъ из-за немца, посудите сами!.. Пресмешная история». Горянчиков замечает: «Я выслушал хоть и не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства».

История же по внешней канве такая. Унтера Баклушина посылают служить в городок Р., где много немцев. Он влюбляется в одну немочку-прачку, хочет на ней жениться, но тут вклинивается пожилой богатый немец-часовщик, который давно имел виды жениться на Луизе, она плачет и говорит Баклушину, что это ей счастье, неужели он хочет ее счастья лишить. Баклушин соглашается: «Ну, говорю, прощай, Луиза, Бог с тобой; нечего мне тебя счастья лишать». Но на следующий день идет к немцу под магазин, посмотреть на него: «Хотел было у него тут же стекло разбить... да что, думаю... нечего трогать, пропало, как с возу упало! Пришел в сумерки в казарму, лег на койку и вот, верите ли, Александр Петрович, как заплачу...» Баклушин узнает, что в воскресенье у часовщика с Луизой сговор и что, «может быть, все дело решат», и его берет такое зло, «что и с собой совладать не могу». Идет он по адресу к часовщику, а в карман «на всякий

случай» сует пистолет — старенький, со стертым курком, которым и стрелять нельзя. Баклушинский «смех» состоит в манере его рассказа: он рассуждает и говорит с Луизой вполне благоразумно, а с другой стороны, действует совсем неблагоприятно, импульсивно. Этот импульс и приводит Баклушина на каторгу. Опять здесь вариант своеволия — не осознанного, а такого, которое на тебя накатывает и подчиняет себе, и *потому оно может быть смешным* (потому что в нем нет истинной твердой воли и еще потому, что *в нем есть рефлексия на самого себя, то есть раздвоение личности*).

Прежде чем перейти к следующим примерам проявления своеволия и воли в арестантах, следует сказать более подробно о самом понятии воли и связанном с ним понятии свободы в разрезе того, как эти слова трактуются в «Записках из Мертвого дома». Не знаю, было ли известно Достоевскому, что в западной традиции понятие свободы изначально разделено на т. н. «негативную» и «позитивную» свободы, что попросту означает внешнюю и внутреннюю. Достоевский, при всем его почвенничестве и национализме, был нацелен на ту самую негативную свободу, о которой исключительно пеклась и печется современная европейская мысль, — свободу, которая имеет дело с ограничениями людского волеизъявления. (Еще один аргумент в пользу того, что по сравнению с большинством русских писателей способ мышления Достоевского был на самом деле резко европейского склада.)

«Мертвый дом» — это место, в котором содержатся люди, лишенные свободы за преступления перед обществом, люди, переступившие некие правила поведения, предписываемые обществом для своего сохранения. Их основная (лежащая в основе всех помыслов, согласно автору книги) мечта — это мечта о свободе. Автор говорит о пожизненно заключенных, которые все равно разговаривают так, будто им предстоит выйти из острога. Он описывает прикованных цепями к стене самых страшных преступников, которые подмигивают ему, как ловко они приспособились все-таки делать на этой цепи несколько шагов. При всей его ориентации на духовность, ему *ни разу* не приходит в голову подумать, как думает Пьер Безухов, что его бессмертную душу нельзя заключить в тюрьму и лишить свободы. Он *знает*, что лишен свободы и таким образом лишен жизни, погребен заживо (откуда и название книги). Вся его воля концентрируется на желании вынести каторгу, выйти из

нее здоровым, по возможности полным сил (описание того, как работа в каторге укрепляет его физически, и как он радуется этому). Достоевский еще не употребляет слово «воля» в том смысле, в каком оно прозвучит в «Записках из подполья», и, когда он говорит о волевых людях, то просто употребляет слова «сила» и «решительность характера». Но эти слова имеют одно назначение: определить волю человека к свободе, волю к воле. Воля человека в «Записках из Мертвого дома» направлена на одно — на обретение внешней свободы поступать по воле и, хотя все люди, по идее, хотели бы быть вольными, эта воля распределена среди обитателей острога очень неравно.

Но это еще не все. Неравенство между людьми в каторжном обществе строится только на силе или слабости их характеров, то есть на том, насколько чиста в них субстанция воли к свободе. Все они знают это и потому стараются прикрыться различными обличьями, масками, претендуя на выражение чистой воли. Конечно, существуют такие люди, как Сушилов, но если спросить даже Сушилова, хотел бы он выйти на волю, разве он ответит отрицательно? Разве признает, что воля ему ни к чему, что, согласно анализу Достоевского, весь смысл его существования в том, чтобы отказаться от своей воли и передать ее на служение воле другого человека?

Но в сторону Сушилова и таких, как он. А вот разглядеть в других каторжниках под обличьями и масками воли *истинную волю* рассказчику не так легко. Например, в главе «Решительные люди. Лучка» автор рассказывает еще об одном обличье, которое претендует на то, что оно и есть чистая воля. «Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, празднично и тоскливо лежа на нарах, я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принял рассказчика за какого-то колоссального, страшного злодея, за неслыханный железный характер, тогда как в это же время чуть ли не подшучивал над Петровым. Темой рассказа было, как он, Лука Кузьмич, не для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, *уложил* одного майора».

Прервем рассказ и спросим: почему же Лучка не «страшный злодей»? Он убил майора ни за что, просто так, чтобы показать здоровенным и трусливым хохлам, с которыми идет по этапу за бродяжничество, как нужно держать себя с начальством, — поступил, в общем, отчаянно, проявив волю действовать вопреки

разумности, — сколько же таких людей есть вокруг нас? И не следует ли нам опасаться таких людей, глядеть на них со страхом? Да, это все так, но, во-первых, Лучка убил «на публику», театрально, то есть с рефлексией на самого себя, а во-вторых, он явно любит *рассказывать* о своем преступлении, да еще рассказывать *с юмором* (рядом с ним сидит его приятель, здоровенный, благодушный и недалекий малый, и маленький, востренький Лучка, как заправский клоун, использует приятеля как «прямого» партнера, чтобы эффектнее подать свою историю). Но люди чистой волевой субстанции *не рассказывают, они действуют*. Тут или-или, середины быть не может, и каторга знает это так же ясно и точно, как знала немецкая идеалистическая философия, которая, по сути дела, сформулировала идею Сверхчеловека, назвав романтическое искусство ироническим на том одном основании, что оно несет в себе рефлексю. И потому каторга относится к Лучке с пренебрежением, и, вслед за каторгой, к нему так же начинает относиться и Достоевский. В тот самый момент, когда человек начинает рассказывать себя, он становится чем-то вроде романтического писателя и теряет способность к непосредственному волевому действию. (В тот самый момент, когда европейское искусство переходит от мифа и эпоса к лирике, европейская цивилизация переступает через пик своего развития и идет на декадентское снижение.)

Теперь перейдем к образам героев, которые, согласно Достоевскому, представляют собой по-настоящему сильных людей. Таких людей в книге четверо: дворянин А-в и простолюдины Газин, Петров и Орлов. Начнем с А-ва, которого сам Достоевский вовсе не называет сильным человеком, а между тем у него с ним *особые счеты* и особые к нему претензии. Сперва кажется, что Достоевский увлекается и преувеличивает: «...Не dokonчив нигде курса и рассорившись с родителями, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти людей для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его

скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет». Итак: «грубые и развратные наслаждения», в которых Достоевский обвиняет А-ва, — это пристрастие к кондитерским и посещение публичных домов, не слишком похвальные привычки, но уж, наверное, в человеческом обиходе не заслуживающие таких «ужасающих» слов. Но пафос Достоевского направлен на другое, и потому истинные кодовые слова в приведенной фразе это: «будучи человеком неглупым» и, по контрасту, «безумное и бессмысленное дело». Объективный идеалист Достоевский всегда предельно нацелен на различие между автономными областями материи и духа, которые — перефразируя Ивана Карамазова — избирают своим полем битвы душу человека, и тут нам говорится, что А-в, «неглупый человек» (ум — это духовная сторона в человеке) совершает «безумное и бессмысленное» дело, отказываясь от ума-духовности во имя материи (кондитерских и Мещанских), — вот в чем состоит его истинное преступление по шкале ценностей Достоевского: *тут преступление не против людей или общества, но против предназначения человека — быть духовным созданием.*

Но это еще далеко не все, и А-в, может быть, не так уж безумен и бессмысленен, как этого хотелось бы доказать Достоевскому, и у него, может быть, есть своя философия: «такая страшная перемена в его судьбе должна была бы поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущенья принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и тремя Мещанскими <...> каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, можно подличать, и не стыдно». Описывая А-ва и свое к нему отношение, Достоевский не замечает своей непоследовательности. На протяжении всей книги он ни разу не выносит моралистических суждений по адресу каторжан — людей из черного народа. Перечисляя порой страшные преступления и страшных преступников — ни разу! Но по отношению к А-ву он вдруг не удерживается и прикладывает мерки и требования «нравственного превосходства». И тут же — одна ниточка тянет другую — Достоевский проговаривается таким образом: «Я сказал уже, что в остроге все так исподлилось,

что шпионство и доносы процветали и арестанты нисколько не сердились за это». Действительно, Достоевский упоминал, что на каторге процветают доносы, но он не употреблял моралистическое «исподлилось» — а сейчас, увлекшись своим отвращением к А-ву, употребляет, и следуя этой логике, проговаривается дальше: «Напротив, с А-вым все они были дружны, не сердились **и обращались с ним несравненно дружелюбней, чем с нами**». Поразительное признание человека, который всю каторгу постоянно одержим тем, чтобы народ признал его за своего, за «хорошего человека», и который в конце книги с гордостью и торжеством объявляет, что усилия его в какой-то степени оправдались и несколько каторжников полюбили его в конце концов! Разумеется, никто не советует Достоевскому завоевывать дружбу каторжников таким же образом, как это делает А-в, но тут гораздо важнее другое: что значат слова «в остроге все так исподлилось» — исподлилось по сравнению с чем? Сам же Достоевский говорит, что только в каторге он узнал русский народ, откуда ему знать, какими эти люди были до каторги? Но тут вдруг оказывается, что он «знает», то есть знает моралистически — между тем моралистический Достоевский — это совсем не тот, кто способен сказать, что в каторге были, может быть, лучшие русские люди. В рассказе об А-ве Достоевский забывает художественную дисциплину и задание *не судить* своих персонажей и на какое-то время становится тем Достоевским, который в письме к брату оценивает всех арестантов с позиции нравственного превосходства, описывает их с помощью одной и той же, достаточно негативной краски. Делает он это потому, что уж больно А-в допек его персонально. А-в есть свой брат дворянин, он не народ, в отношении которого писатель *занимает позицию* — вот в чем дело! А-в — это не *общество* (каторжное общество черных людей), А-в такой же отрезанный ломоть от народа, как сам Достоевский, — какое он имеет право входить в народное общество, как нож в масло? В ненависти Достоевского к А-ву проглядывает бессилие: «И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку <...> прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой...». Красота лиц всегда чрезвычайно важна для Достоевского, равно как их ум, и так же важно, чтобы люди улыбались и не были угрюмы. И то, что в А-ве присутствуют эти *признаки духа*, приводит Достоевского в неистовство: «На мои глаза, за время всей моей

острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и желудком и неукротимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на всё, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва». Весьма возможно, что Достоевский прав, и А-в был готов резать и убивать, но на самом ли деле он стал «каким-то куском мяса», как это хочет представить нам писатель? Хитрость и ум и, в особенности, «вечная насмешливая улыбка» — не свойственны «куску мяса», и потому фразой: «Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдерживаемая никакой нормой, никакой законностью» — Достоевский передергивает. Все дело в том, что А-в предстает перед Достоевским носителем *какой-то иной духовности*, и вот это-то невыносимо для писателя — порождения позднего европейского романтизма (с голой-то материальностью легче было бы расправиться). Спросим шире: подходит ли случай А-ва под схему немецкого объективного идеализма с его разделением материи и духа? Или еще шире: подходит ли вообще А-в под схему мышления христианской цивилизации? Тут нам в помощь Ницше с его книгой «Рождение трагедии»: «Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти в них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, — тот неизбежно и скоро с неудовольствием и разочарованием отвернется от них. Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге; здесь все говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, **в котором все наличное обожествляется, безотносительно к тому — добро оно или зло**». Давайте в духе Ницше, то есть играючи, заменим слова «наигрубейшие, самые зверские телесные наслаждения» на «роскошное, даже торжествующее существование» — не придет ли нам в голову, что речь, по сути дела, идет об одном и том же? Можно ли не понять все преувеличенные эпитеты, которыми награждает Достоевский А-ва: он тут будто сталкивается не с человеком, а инопланетянином, на *красивом* лице которого *вечная насмешливая* улыбка заведомого понимания того, чего хочет от него этот *некрасивый* проponent идеалистического мировоззрения эпохи христианской цивилизации!

Вот где боль и бессилие Достоевского. А-в — это не представитель черного народа, даже не «лучших представителей» черного народа (то есть тех, кто, хотя и выкрикнули свое «Я — есть!» через убийство, но стихийно и неосознанно, и в неопределенности их сознания нет сознательного отказа от христианства и христианской морали). О, нет, А-в твердо и окончательно, как образованный и сознающий себя человек говорит: «Я — есть!» таким невозможным для Достоевского образом, что лучше бы «пожар, лучше мор, голод (*лучшие самые зверские убийцы, добавляю я. — А.С.*), чем такой человек в обществе!».

Вот первый из сильных людей, первый супермен Достоевского, на которого никто не обращает должного внимания, потому что он его личный супермен. С точки зрения каторжников, А-в вовсе не представляет угрожающую фигуру, его только следует несколько опасаться из-за его влияния на майора. *А-в — это культурная угроза* для Достоевского, который со всеми его нервными и восторженными потрохами принадлежит к иерархии европейской христианской цивилизации, *а каторжники к этой иерархии не имеют никакого отношения.*

Но Газин, Петров и Орлов совсем другое дело, они занимают в обществе каторжников иное положение. Начнем с Газина и сразу отметим черты, которыми Достоевский выделяет сильных людей каторги. Одна такая черта — это их спокойствие и натуральная уверенность в своем над другими превосходстве. Вот и Газин «был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто бы из презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и улыбке». Другая черта — таинственность: конкретное преступление, за которое осужден сильный человек, остается читателю неизвестно. О преступлениях остальных каторжников, простолюдинов или дворян, сообщается точно и недвусмысленно, но когда дело доходит до Газина, Петрова и Орлова, все отодвигается в туманную, неопределенную, даже мифическую область догадок, предположений и множественных чисел. О Газине говорится так: «В остроге об нем носились странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не

знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение».

Итак, Газин чувствует свое превосходство в обществе каторжников, и его превосходство каторга признает. Газин богат, он торгует в остроге вином, на него работает много людей. Но у него есть слабость, как раз связанная с его профессией целовальника и его богатством, то есть связанная с материальной стороной его существования: он раза два в год запивает. Впрочем, и другие заключенные запивают, и Достоевский описывает такие загулы, когда человек, тяжело работая, несколько месяцев копил деньги, чтобы пропить их в один день. Тут Достоевский проницательно указывает, что эти загулы есть необходимость пожить по своей воле, и что деньги, которые тоже необыкновенно важны для чувства хоть какой-то независимости, все-таки не так важны, как загулы, ради которых их копят. И арестант, говорит Достоевский, гуляет весело по принципу: хоть час, да мой. Но с Газиным происходит иначе. Он гуляет широко, нанимает музыкантов, но почему-то во время загула не веселится, а наоборот, мрачнеет, становится зол и постоянно нарываясь на драку, бросается на людей с ножом. А так как он невероятно силен физически, единственный способ сладить с ним — это навалиться на него всем гуртом и чудовищно бить до тех пор, пока не потеряет сознание. Выходит парадокс: Газин все то время, когда трезв, разумен и сдержан, полностью контролирует себя, то есть находится в полной своей воле, повелевая нанятыми для проноса вина каторжниками. Это, так сказать, аполлонический Газин. Но, как только он начинает пить, он превращается в Газина дионисийца, и тогда сквозь него и посредством его прорывается яростная и, конечно же, пессимистическая (иначе откуда бы такая мрачность?) сила, отчета в которой он дать себе не может, равно как и не может сдержать ее.

Газин не исключение, есть немало людей, которые, когда пьянеют, становятся неприятны и агрессивны, и, несомненно, у психоаналитиков давно уже есть исчерпывающее объяснение такого феномена поведения. Я даже догадываюсь, какого рода объяснения тут даются, но в данном случае они меня не интересуют, потому что я стараюсь смотреть на вещи под углом зрения Достоевского — иначе говоря, постоянно имея в виду борьбу сил духа и материи в человеке. В случае Газина это значит, что во время загула,

под влиянием вина в нем как будто пробуждается осознание иллюзорности его властительного положения в каторге, всей его деловой деятельности, его антрепренерства, на которое он тратит столько времени и сил. Вдруг под влиянием алкоголя он видит, что он есть такое в действительности: животное, заключенное в клетку, как и все остальные каторжники, а, коли так, то он и ведет себя по-животному. Если видеть Газина в таком ракурсе, он становится фигурой трагической в том изначальном смысле, который шире и глубже принадлежности к какой-либо культуре с принятым в ней пониманием добра и зла: дионисийское состояние — это состояние подсознательного понимания изначальной дисгармонии и трагедии человеческого существования. В Газине есть незаурядная, мощная сила, которая изначально направлена не на созидание, но на разрушение, то есть на различные преступления. Достоевский испытывает к Газину крайне отрицательные чувства, но это придает его образу шекспировский размах: «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепей, чудовищней его <...> Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место, сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением». Тут нужно быть очень осторожным перед соблазном сравнения этого описания с известной навязчивой темой у последующего Достоевского — темой изнасилования и доведения до самоубийства его героями маленьких девочек. Позже я буду говорить о характере связи между преступниками каторги и преступниками романов Достоевского, сейчас только отмечу, что между первыми и вторыми есть та кардинальная разница, что первые (каторжане) существуют (существовали) объективно, а вторые (сильные или около-сильные герои: Свидригайлов, Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов) суть — как справедливо заметил Леонтьев — плоды воображения писателя, пришедшие не снаружи, но из его собственной психики. Поэтому надо отдать должное тому, как писатель настойчиво подчеркивает, что чувства, которые ему внушал Газин, были общие чувства каторги (в отличие от чувств, которые внушал А-в лично Достоевскому). Следует отметить еще одно различие: как бы ни были отвратительны приписываемые (значит, в какой-

то степени сфантазированные) Газину преступления, они есть проявление искривленной, искаженной, но все-таки духовности, наподобие «духовности» маркиза де Сада, между тем как «преступления» А-ва — это действия, предпринимаемые *против* духовности, точнее, против идеи духовности. И потому, хотя Газин и производит «страшное, мучительное впечатление», он не «отравляет» существование Достоевского так, как А-в, и Достоевский сам делает отчетливое различие, говоря, что лучше мор, голод и пожар, чем такие люди, как А-в, в обществе — ничего подобного он и близко не говорит о разбойниках и душегубах!

За Газиным идет Петров. И опять описывается взгляд: «Взгляд у него был тоже странный: пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки, но глядел он как-то вдаль, через предмет; как будто из-за предмета, бывшего перед его носом, он старался рассмотреть какой-то другой, подальше». То же самое насчет того, почему он находится в остроге. Хотя Петров сидит в особом отделении, куда направляют за тяжкие преступления, мы так толком и не узнаем, за что именно его осудили. То есть нам рассказывается нарочито мимоходом, как бы к слову: «В другой раз, еще до каторги случилось, что полковник ударил его на учении. Вероятно, его и много раз перед этим били; но на этот раз он не захотел снести и заколол своего полковника открыто, среди бела дня, перед развернутым строем. Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории; он никогда мне ее не рассказывал...». Хотя одного такого преступления достаточно, чтобы попасть в особое отделение, Достоевский подает этот эпизод во множественном числе, будто стоящий в ряду многих подобных же и совершенно для Петрова заурядных. Таким образом создается образ человека, точнее каторжника, еще точнее — каторжника-убийцы, который возвышается над всеми остальными каторжниками-убийцами своей способностью убивать с такой же «междупрочимностью», с какой другие завтракают или обедают.

«Одним из первых стал посещать меня арестант Петров. Я говорю “посещать” и особенно напеваю на это слово. Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме. Связей между нами, по-видимому, не могло быть никаких; общего тоже решительно ничего у нас не было и не могло быть... Я даже и теперь не могу решить: чего именно ему от меня хотелось, зачем он лез ко мне каждый день?»

Мысль о *непонятности* Петрова проходит в продолжение всего разговора о нем: «Не знаю тоже почему, но мне всегда казалось, что он как будто вовсе не жил вместе со мной в остроге, а где-то далеко в другом доме, в городе, и только посещал острог мимоходом, чтобы узнать новости, проведать меня, посмотреть, как мы все живем». Достоевский «строит» образ Петрова таким образом, чтобы читатель ощутил его таинственность, какую-то аномальность. Горянчиков справляется о Петрове у одного из приятелей политических, и тот тоже говорит о нем в превосходной степени: «Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных <...> Он на все способен; он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается, так, просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, что он не в полном уме». Вот это последнее замечание весьма стыкуется с тем, каким хочет показать нам Достоевский Петрова: банальное, чисто обывательское выражение «не в полном уме» на самом нижнем уровне сознания означает то, что на более высоком уровне описывается словами «исключительность», «особенность» характера. Любопытно, что и тот самый политзаключенный М. тоже не приводит никаких конкретных деталей, которые могли бы в один миг осветить нам Петрова, опять тут только интуитивные и декларативные предположения. Почему? Хоть один какой-нибудь примерчик должен же он был привести в доказательство таких максималистских предположений? Но Горянчиков-Достоевский как-то сразу верит М., несмотря на то, что «М. как-то не мог дать мне отчета, почему ему так показалось». И продолжает: «И странное дело: несколько лет сряду я знал потом Петрова, почти каждый день говорил с ним; всё время он был ко мне искренне привязан (хоть и решительно не знаю, за что) — и во все эти несколько лет хотя он и жил в остроге благоразумно и ровно ничего не сделал ужасного, но каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав и что Петров, может быть, самый решительный, бесстрашный и не знающий над собой никакого принуждения человек. Почему мне так казалось — тоже не могу дать отчета».

Достоевский подробно описывает внешность Петрова, его взгляд, его разговоры, манеру слоняться по баракам, но не может показать, что же заставляет его воспринимать Петрова как самого решительного и бесстрашного из всех каторжников. Петров выхо-

дит человеком, который непрозрачен, непроницаем, его нельзя описать, даже если описываешь его внешне. Раз, впрочем, Достоевский становится свидетелем сцены, когда Петров «серьезно рассердился»: «Ему что-то не давали, какую-то вещь; чем-то обделили его. Спорил с ним арестант-силач, высокого роста, злой, задир, насмешник и далеко не трус <...> Они долго кричали, и я думал, что дело кончится много-много простыми колотушками, потому что Петров хоть и очень редко, но иногда даже дирался и ругался, как самый последний из каторжных <...> но на этот раз случилось не то: Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели; дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными босыми ногами <...> подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли; муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу; на нем лица не было <...> Я не вынес и вышел из казармы...»

И тут Достоевский допускает художественный промах. Горянчиков говорит, что «ждал, что еще не успею сойти с крыльца, как услышу крик зарезанного человека...» (тоже, кстати, плакатное преувеличение — зарезанные не кричат), то есть Горянчиков *физически не может присутствовать* при разрешении конфликта, а между тем он рассказывает об этом разрешении так, будто сам при нем присутствовал: «Но дело кончилось ничем и на этот раз: Антонов, не успев еще Петров дойти до него, молча и поскорей выкинул ему спорную вещь». Что бы стоило Горянчикову добавить два слова: *как мне рассказали потом присутствовавшие?* Я указываю на эту небрежность только потому, что она характерна для Достоевского и еще раз указывает на особенность его поэтики. Сколько бы Достоевский ни жаловался в своих письмах, что его художественность страдает из-за безденежья и спешки попасть с работой к сроку, причина тут более глубокая и соответствующая его «разрывающей» стилистике, в которой его идеи (поэзия, как он сам называл свои идеи) и его материальная (натуралистическая) художественность далеко не всегда гармонируют, не составляют надежную спайку. Вот и тут: материальная художественность (правдоподобность) ускользает от Достоевского вероятнее всего потому, что он так увлечен *идеями Петрова*, что становится небрежен. Достоевский *не видит* рассказываемую сцену, как ее видел бы «обычный» реалистический писатель, то есть отмечает

только то, что важно для формирования образа, для излагаемой идеи образа, потому что он идет от *идеи Петрова к сцене, а не наоборот*.

Весь рассказ о Петрове занимает в книге примерно три страницы, и его можно поделить на четыре части.

Первая часть посвящена описанию непонятности, непроницаемости личности Петрова. В этой части создается впечатление, что Петрова можно только *предошущать* (то есть фантазировать на тему, что же это есть такое — Петров).

Вторая часть дает пример вспышки темперамента Петрова, Петров в ней проявляет себя — пусть не до конца, пусть потенциально — тем не менее он на несколько секунд вспыхивает внутренним огнем, и этот огонь на несколько секунд освещает его изнутри, он больше не непроницаем. Но все быстро заканчивается, и «через четверть часа он уже по-прежнему слонялся по острогу с видом совершенного безделья и как будто искал, не заговорят ли где-нибудь о чем-нибудь полюбопытней...».

В третьей части автор начинает фантазировать на тему Петрова *во множественном числе*, то есть не лично на тему Петрова, как субъекта, но «таких людей, как Петров»: «Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор, покаместь они чего не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствия их желанию. А я уверен, что он бежать сумел бы ловко, надул бы всех, по неделе мог бы сидеть без хлеба где-нибудь в лесу или речном камыше. Но, видно, он еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого *вполне*». Чем дальше, тем больше рассказчик объективизирует Петрова в тип, причисляя к определенной категории людей: «Эти люди так и рождаются об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда; так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голова нипочем». И тут же рассказчик переходит к самому Петрову, и снова перед ним загадка: «Удивлялся я иногда, как такой человек, который зарезал своего начальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги... Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня...».

Затем следует интерлюдия, чрезвычайно важная, в которой Горянчиков говорит об отношении Петрова к нему самому, но пропустим пока эту интерлюдию и перейдем к четвертой части, в которой развивается и завершается тема третьей части, тема *объек-*

тивного типа: «С эдакими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота и таким образом разом попадают на свою полную деятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главными предводителями дела; но они главные исполнители его и первые начинают. Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые пере-скакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно кладут свои головы»^{*}.

Эти несколько последних строчек можно определить как проникновенное замечание психолога, знатока человеческой натуры, который *объединяет группу людей по психологическим признакам-симптомам* — но тут не Достоевский-художник: тут происходит замещение, Достоевский расписывается в своем бессилии говорить о Петрове на уровне собственного художественного принципа неотстраненности и необъективизации человека.

Теперь вернемся к пропущенной интерлюдии, в которой описывается не отношение Горянчикова к Петрову, а Петрова к Горянчикову: «Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним о чем-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос: что ему в этих книжных знаниях, о которых он меня обычно расспрашивает? <...> Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивился полученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно... Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что, кроме разговора о книжках, я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего. Я уверен,

^{*} Этот абзац написан так, будто Достоевский глядит не на Петрова, а на Хью, персонажа из романа Диккенса «Барнаби Радж», вышедшего еще в 1841 году. В отличие от Петрова Хью действительно «крупно обозначился», предводительствуя толпой бунтовщиков во время кровавых антикатолических, т. н. гордоновых восстаний 1780 года. Достоевский слишком любил Диккенса, чтобы не читать этот роман.

что он даже любил меня, и это очень меня поражало. Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, приняв меня за такое... не знаю. Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, что я уже “слишком доброй души человек” и “уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет”. “Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду, — прибавил он через минуту, — я ведь так от души сказал”».

Обратим внимание на расстановку сил: *оказывается, в то время как Горянчиков твердил, насколько Петров остается для него (и для интеллигента М.) загадкой, сам Горянчиков Петрову был настолько понятен, настолько прост, что Петрова даже жалость брала*. Вот скрытая кульминация текста, посвященного Петрову. На каких основаниях Горянчиков так понятен Петрову (и, следовательно, на каких основаниях Петров неясен Горянчикову)? Не на основании образования, культурного превосходства или даже способности быть «людьми слова», но *только на тех основаниях, что Петров «сильное существо», а Горянчиков — «слабейшее»* — радикальный вывод, констатация радикального факта!

Проведенный мной анализ отношений между каторжником из солдат (из грубого невежественного народа) Петровым и образованным дворянином Горянчиковым, сиречь Достоевским, должен казаться неизмеримо более странным, чем если бы я пришел к такому же выводу, анализируя, скажем, отношения между «князем света» Заратустрой или «князем тьмы» Ставрогиным с их учениками, которые тоже их не понимали. Деятнадцатый век был одержим идеей и образом сильного, выше разума других, человека. Косвенно идею такого человека сформулировала немецкая идеалистическая философия, когда она предложила иерархию, на одном конце которой находится природа, а на другом — дух. Если одна только природа и нет духа — выходит животный мир. Чем больше в человеке духовности, тем менее он натурален, естественен, способен к гармонии с материей. Духовность по определению противоположна натуре, материальности, освобождает от нее, и так далее, и тому подобное. Бальзак, Гюго, Дюма. Вотрен, Жан Вальжан, граф Монте Кристо. Но сильный или даже сверхсильный герой романов XIX века возвышался над другими

персонажами (и уровнем понимания их) не только силой воли, но и силой интеллекта, представляя собой высокоразвитую личность. Западная традиция принимает силу воли и силу интеллекта в таких людях за нечто нераздельное, и ей следуют Бальзак, Гюго и Дюма. Достоевский тоже как будто следует ей в своих романах, только следует *парадоксально*: написать сильного и активного положительного героя он не в состоянии, все его сильные люди — это люди зла, а когда он все-таки пишет положительного героя, то выходит идиот князь Мышкин. И искать начало этому парадоксу следует в «Записках из Мертвого дома». По своей натуре Достоевский был в высшей степени раздвоенный, непрерывно рефлексирующий человек, который ни на мгновение не может остаться наедине с самим собой без того, чтобы не посмотреть на себя со стороны чужими глазами. Рефлексия — это не только краеугольный камень его поэтики, но, судя по дневникам и письмам, его самого в реальной жизни. И вот такой человек встречается в каторге с сильными людьми и видит, что главный атрибут их натуры *согласно иерархии каторжного общества* — это полное отсутствие рефлексии. Вот почему Горянчиков так поражен непонятностью для него Петрова и вот почему он столько говорит об этой непонятности. У него нет никаких доказательств, что Петров и есть тот самый человек, качества которого так приятны для каторги, но он видит, что каторга чтит именно его, — и этого достаточно. Достоевский — это плоть от плоти, дух от духа поздней, на грани модернизма, романтики (откуда и такая раздвоенность), но каторжное общество являет ему неожиданный образец идеала грубой цельности доромантического общества, и он впитывает в себя этот образец. Достоевский — это человек, который не только как будто окружен со всех сторон зеркалами, но и внутри него бесконечная анфилада зеркал, и в них идет напряженный турнир-состязание между десятками образов и сотнями мыслей — таков его уникальный, коронующий романтическую эпоху гений. И вот он заглядывает в одно из зеркал, и вместо образа и вместо мысли — одна чернота без малейшего проблеска (как глаза Кириллова в «Бесах»). Так перед ним возникает другая, куда более радикальная, то есть непривычная ситуация, и никакого объяснения ей, кроме приведенного выше, нет: *истинная сила воли таинственна сама по себе и не зависит от развитости интеллекта.*

Теперь, наконец, перейдем к преступнику Орлову, образ которого венчает галерею сильных людей в «Записках из Мертвого дома». Орлов настолько важен для Достоевского и настолько необычно им описан, что я постараюсь приблизиться к нему окольным путем и сперва обращусь к трактовке образа Орлова, которую дает в книге о Достоевском религиозный писатель Константин Мочульский.

И делаю это вот почему. В традиции российской культуры величие Достоевского как писателя-философа и писателя-пророка было впервые раскрыто именно религиозными философами и писателями (Бердяевым, Булгаковым, Розановым), и эта традиция активна и сегодня, так что, когда пишешь о Достоевском, обходить эту традицию просто невозможно. Однако Мочульский единственный из всех религиозных мыслителей не отвращает глаз от фигуры Орлова. Вот что он пишет: «Достоевский сталкивается с титанической личностью, сверхчеловеком, для которого обычная мораль — жалкое ребячество. Зло совсем не ущербность воли и слабость характера; напротив, в нем страшное могущество, мрачное величие. Зло не в господстве низшей плотской природы над высшей духовной; злодей Орлов являет в себе полную победу над плотью. *Зло есть мистическая реальность и демоническая духовность.* Орлов высокомерно смеется над наивным моралистом Достоевским и презирает в нем “слабого человека”... От сверхчеловека Орлова идут все “сильные личности” Достоевского».

В конечном счете Мочульский ошибается. Только первая фраза верна: «Достоевский сталкивается с титанической личностью, сверхчеловеком, для которого обычная мораль — жалкое ребячество», но, сказав эту фразу, Мочульский вместо конкретного анализа образа Орлова и отношения к Орлову самого Достоевского, отворачивает глаза от текста и произносит несколько общих фраз насчет «мистической реальности и демонической духовности».

Между тем вот как описывает Орлова Достоевский. По ходу текста я позволю себе одну только вольность: слова и фразы, которые показывают *отношение* рассказчика (Достоевского) к Орлову, я выделю жирным шрифтом.

«Я помню несколько примеров отваги, доходящей до какой-то бесчувственности, и примеры эти были не совсем редки. Особенно помню я мою встречу с одним страшным преступником. В один

летний день распространился в арестантских палатах слух, что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова, из беглых солдат, и после наказания приведут в палаты. Больные арестанты в ожидании Орлова утверждали, что накажут его жестоко. Все были в некотором волнении, и, признаюсь, **я тоже ожидал появления знаменитого разбойника с крайним любопытством.** Давно уже я слышал о нем чудеса. Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, — человек с страшной силой воли и гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах и был приговорен к наказанию палками, сквозь строй. Привели его уже вечером. В палате уже стало темно, и зажгли свечи. Орлов был почти без чувств, страшно бледный, с густыми, всклокоченными, черными как смоль волосами. Спина его вспухла и была кроваво-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним арестанты, переменили ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарство, точно ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На другой же день он очнулся вполне и прошелся раза два по палате! **Это меня изумило:** он прибыл в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошел зараз половину всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию только тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило преступнику неминуемой смертью. Кроме того Орлов был малого роста и слабого сложения, и к тому же истощен долгим содержанием под судом. Кому случилось встречать когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их изможденные, худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орлов быстро поправлялся. **Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре.** Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он. Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость в том же роде, одного бывшего атамана разбойников. Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное оупление. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслажде-

ний, сладострастия, плотоугодия. Я уверен, что Коренев — имя того разбойника — даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то, что способен был резать даже не поморщившись. Совершенно противоположен был ему Орлов. Эта была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собой безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я был поражен его странным высокомерием. Он на все смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое могло бы подействовать на него одним авторитетом. На все он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что могло бы удивить его. И хотя он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но нисколько не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и как-то странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорей выходить остальное наказание, и что он боялся сначала, перед наказанием, что не перенесет его. “Но теперь, — прибавлял он, подмигнув мне глазом, — дело кончено. Выхожу остальное число ударов, и тотчас же отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги бегу! Непременно бегу! Вот только поскорей бы спина зажила!” И все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал заговаривать с ним о его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добиваюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом, без всякой иронии, и, я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец, он выписался еще с не совсем зажившей спиной; я тоже пошел в этот раз на выписку, и из госпиталя нам случилось

возвращаться вместе <...> Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, что он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. **В сущности он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее».**

Вот Орлов в описании Достоевского. Мочульский в своей трактовке образа Орлова идет от религиозного сознания, неотделимого от понятий добра и зла, и Орлов справедливо выходит у него «князем тьмы». Но Мочульский не замечает, насколько Достоевский в данном случае мыслит иначе, насколько его сознание одержимо другой парой противоположностей: материей и духом. В связи с этим характерна эволюция текста: если вначале Достоевский отстраненно дает характеристику Орлова, что тот был «злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей», то несколько позже, попадая под обаяние этого человека, он увлеченно говорит: «В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели», — и конкретность того, что представляет собой «деятельность» Орлова, как будто забыта. И, как будто для того, чтобы уже совершенно ни у кого не оставалось сомнений, Достоевский ставит рядом с Орловым другого главаря разбойников — Коренева — как полный антипод ему в свете пары материя-дух, но никак не добро-зло. *Кто бы еще, кроме Достоевского, провел подобное кардинальное различие между двумя такими разбойниками?* Тут нужна особенная психика, для которой — когда заходит разговор о поединке духа и материи, духа и натуры — гуманность, ценность конкретной человеческой жизни (то есть жизней зарезанных людей) превращается в ничто.

Достоевский объявляет Орлова ужасным разбойником, который резал стариков и детей, между тем как Газин только предположительно убивал детей, а Петров вообще не был разбойником. Но, испытывая отвращение к Газину, рассказчик не высказывает никакого отвращения к преступлениям Орлова — почему? В чем состоит причина такого разного отношения к этим двум сильным людям? Эта причина объявлена в тексте: воля Газина находится в кабале у материи. Газин в течение нескольких месяцев, трезвый, волевым усилием сдерживает внутри себя своих бесов, но, когда он запивает, его воля оказывается иллюзорной, она пасует перед

дионисийским состоянием свободы духа, который Газину не по плечу. Газин, ни когда трезв, ни когда пьян, не умеет смеяться, но Орлов и трезвый смеется «самым простодушным смехом, без всякой иронии», как смеются чистые и вольные души.

И опять, в третий раз, Достоевский-Горянчиков отмечает в Орлове то же качество, которое отмечал в Газине и Петрове: «Между прочим я был поражен его странным высокомерием. Он на все смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое могло бы подействовать на него одним авторитетом. На все он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что могло бы удивить его». Затем еще раз появляется мотив отношения людей силы в каторге к автору. Мы помним, как к Горянчикову относится Петров, будто к малому ребенку, которого следует оберегать, и примерно то же самое происходит с Орловым. Только, если в случае Петрова такое отношение дано без объяснения, то с Орловым оно выводится логически с момента, когда тот понимает, что Горянчиков пытается вызвать в нем укоры совести по поводу действий его *вполне активной и определенной* воли.

Вот три образа, трое сильных людей из народа, которых мы находим в «Записках из Мертвого дома». Между ними много общего, но Орлов возвышается над всеми. Воля Петрова потенциальна, она дремлет, не осуществляясь, не имея точки приложения, а воля Газина закабалена служением материи. Только воля Орлова осуществляет себя полностью и в своей собственной сфере — сфере духа, в которую нет доступа материи. Вот эту черту, неслиянность, *автономность существования в человеке материального и духовного*, сильно чувствовал Достоевский, и отсюда проистек его «разорванный» стиль, который противостоял стилю натуральной прозы (Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой). В натуральной прозе человек подается куда более цельно и *более удовлетворительно с эстетической точки зрения* — а почему более удовлетворительно? Да потому что мы, люди то есть, огромное большинство людей, привыкли думать иначе, чем Достоевский, мы бессознательно уверены, что материя и дух в человеке находятся в состоянии даже если вынужденного, но все равно компромисса (мог бы человек существовать без такого понимания себя? — не думаю). Но Достоевский

знал иное, и потому он констатировал: «Эта была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собой безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете».

Таков портрет сверхчеловека, написанный Достоевским. Прямо, *как он на самом деле написан*, он не подходит ни для религиозного сознания (которое немедленно определит его как Князя Зла), ни для атеистического, которое в наше просвещенное время преспокойно умоет руки, относя его под рубрику психопатов. И в самом деле, разве не психопат своего рода был тот тюремный орел, который предпочел неизбежную смерть на воле благополучному и сытому житью среди людей?

Несколько слов в заключение. В каком соотношении находятся сильные люди каторги с сильными трагическими героями христианского экзистенциального романа Достоевского? Вопреки принятому мнению, ни в каком. Это совершенно противоположные по психике персонажи (одни безгранично рефлексиирующие, другие — способные на рефлексию не более чем нож или топор, которым они убивают); к тому же те и другие принадлежат к совершенно разным обществам. Понять, что это разные общества, важнее всего, потому что разница между ними такова, будто эти общества существуют в разных веках. Общество каторжных, — принадлежать к которым Достоевский декларирует постоянное желание, — это общество, где рефлексия, юмор, ирония суть качества презираемые. Желание принадлежать к такому обществу Достоевский объясняет в «Записках из Мертвого дома» стремлением принадлежать к народу просто потому, что народ — это «товарищество». Но ирония не в этом, а в том, что общество каторжных своей психологией, своей иерархией человеческих ценностей парадоксально напоминает иерархию христианских обществ средних веков, где рыцарские качества прямоты и безоглядной преданности вере тоже основывались на нерелефторности сознания. Композитор Вагнер, которого Достоевский назвал в письме «занудой», отказываясь слушать его музыку, на самом деле замечательно изобразил такую иерархию в своем цикле «Кольцо Нибелунгов», совершенно закономерно отдав роль рефлексиирующего человека презренному Миме, а роль Орлова — бесстрашному Зигфриду. Но кого больше напоминает по качествам психики сам писатель Дос-

тоевский — безродного космополита Миме или тевтонца Зигфрида? Отсюда и ирония, о которой я говорю. Равным образом трагические герои Достоевского находятся несравненно ближе к Миме, чем к Зигфриду. Если бы они не обладали способностью к рефлексии, к культуре мышления, свойственной образованному человеку девятнадцатого века, они перестали бы быть трагическими героями, так или иначе (в основном при помощи преступления), бросающими вызов основам христианской религии, чтобы быть в конечном счете поверженными. Трагические герои Достоевского — это персонажи, рожденные его фантазией, которая, однако, не парит в небесах, но замечательно реагирует на духовные проблемы своего времени. Только проблемы эти вовсе не проблемы каторги, и даже не проблемы «черного» народа, и Достоевский это хорошо знает, хотя прямо не говорит этого. Все послекаторжные годы через его записки и «Дневник писателя» красной нитью проходит фраза о необходимости «непосредственной веры» с упором на слово «непосредственной» (то есть такой, которая ему самому и его главным героям была недоступна). Именно такой верой, которую, по его глубокому убеждению, хранит в себе русский народ, Россия должна спасти Европу. Такую веру он нашел в закоренелых каторжниках, в нерелексирующих разбойниках и убийцах — но об этом нужен особый разговор.